



**Б. А. САДОВСКОЙ**

## **Трагедия Лермонтова**

Когда бы мог весь свет узнать,  
Что жизнь с надеждами, мечтами  
Не что иное, как тетрадь  
С давно известными стихами.

*Лермонтов. Sentenz*

И тьмой, и холодом объята  
Душа усталая моя:  
Как ранний плод, лишенный сока,  
Она увяла в бурях рока  
Под знойным солнцем бытия \*<sup>1</sup>.

Этому надо верить. Нет поэта субъективнее Лермонтова. Он искренен поневоле, ибо умеет писать только для себя и о себе. Его до обожания любят родственные ему натуры; ими он поведывает и очаровывает их, как прекрасный Демон. Мрачная узость эгоистического вдохновения соединяется в нем с бездонной глубиной чувства. Поэзия его в своем пленительном однообразии похожа на глухой и темный колодезь; веет оттуда сыростью и могильным холодом, а там, в стальной черноте глубокого дна, сияя голубыми бликами, ходят неясные просветы. Ими, проскользнув «без руля и без ветрил», выплываешь вдруг в заколдованное царство. Блаженствуют, качаясь, царственные цветы, пальмы, чинары; райские птицы поют, и слышится голос рыбки:

---

\* Лермонтовский текст в настоящей статье приводится по последнему изданию Разряда изящной словесности Императорской Академии наук (Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова. Четыре тома. Под редакцией и с примечаниями проф. Д. И. Абрамовича. С.-Петербург, 1910—1911).

Дитя мое,  
Останься здесь со мной:  
В воде привольное житье —  
И холод, и покой.

Усни! Постель твоя мягка,  
Прозрачен твой покров.  
Пройдут года, пройдут века  
Под говор чудных снов<sup>2</sup>.

Спасти от демона-Лермонтова может только серафим-Пушкин, из подземного мира уносящийся «в соседство Бога»<sup>3</sup>.

Поразительна лермонтовская цельность, гармоничность его природы, самобытность колоссального его таланта. Душою он в главном своем один и тот же — семнадцатилетний и на двадцать седьмом году, накануне смерти. Можно, пожалуй, сравнить его с косноязычным Демосфеном<sup>4</sup>: упорством и силой воли достиг он демонской власти над словом; глагол его, точно, жжет сердца. Труд удивительный и невероятный положил Лермонтов, чтобы в творениях своих запечатлеть то единственное, чему он всю жизнь верил и ради чего страдал. Узкий в своих темах, он углубил их бесчисленными набросками, ворохом черновых проб и плохих стихов, — все для того, чтобы создать несколько превосходных произведений.

Есть у семнадцатилетнего Лермонтова одно удивительное стихотворение под ничего не выражающим заглавием: «1831 года, июня 11 дня». Это огромная пьеса в 256 стихов. В ней все обычные достоинства и недостатки юношеского творчества Лермонтова: мало поэзии и упругой красоты, много металлической силы и неуклюжей страстности; искренностью она поражает необыкновенной. В сухости изложения таится какая-то почти математическая строгость мысли. Не надо забывать, что Лермонтов в то время писал исключительно для себя; он лишь случайно сделался присяжным писателем и к литературной славе всегда был глубоко равнодушен; оттого его юношеские стихи приобретают особенную целомудренную прелесть. В стихотворении «11 июня» перед нами весь Лермонтов; здесь дан абрис будущей грандиозной картины, как бы начерченный углем, — краски наложило на нее следующее десятилетие короткой жизни; в нем пуле Мартынова суждено было стать последним, завершающим взмахом кисти. «11 июня» начинается задушевным признанием:

Моя душа, я помню, с детских лет  
Чудесного искала. Я любил  
Все обольщенья света, но не свет,  
В котором я минутами лишь жил.

И те мгновенья были мук полны,  
И населял таинственные сны  
Я этими мгновеньями... Но сон,  
Как мир, не мог быть ими омрачен.

«Таинственные сны»... Лермонтов — прирожденный сновидец и мечтатель. Всю жизнь он провел в призрачном мире снов. Это его стихия; в ней он царит, как демон (δαίμων), как божество. В «свете», в «мире» он живет лишь проблесками, минутами сознания — и минуты эти не омрачают его таинственного сна. «Страстей и мук умчался прежний сон», «Я зрел во сне, что будто умер я», «Года уходят, будто сны», «Сон земных страстей», «Промчался легкой страсти сон»<sup>5</sup> — это только наудачу взятые стихи с нескольких страниц 1830 года, — но и дальше всюду у него сны — «сны-мучители», и вся его поэзия — вещей сон, а характернейшее для него стихотворение — «В полдневный жар в долине Дагестана...», где тяготеющий над влюбленными сон одушевляет их нездешней силой.

Как часто силой мысли в краткий час  
Я жил века и жизнью иной  
И о земле позабывал. Не раз,  
Встревоженный печальною мечтой,  
Я плакал; но все образы мои,  
Предметы мнимой злобы иль любви,  
Не походили на существ земных.  
О нет, все было ад иль небо в них!

Вызванные к жизни, образы эти, воплотятся в стихах Лермонтова, точно, мало походят на «существ земных». Разве люди — все эти стихийные Арсении, Измаилы, Мцыри? Разве не родные братья они чарующему Демону, покрывшему лермонтовский мир своими черными угловатыми крылами, пожалуй, в павлиньих красках, как на картине Врубеля?<sup>6</sup>

Мечтательность раздвоила существование Лермонтова. Жизнь ему не в жизнь. Он и живет снами и во сне, как гоголевский художник в «Невском проспекте», вернее — как собственный герой его, тоже художник, Лугин, играющий каждую ночь со стариком-фантомом в штосс. Проснувшись на минуту Маёшковой<sup>7</sup>, кутилой и львом-бретером, он снова предаётся упоительной сонной мечте, стремясь выиграть «чудное, божественное видение». «Он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете»<sup>8</sup>. Вся жизнь Лермонто-

ва — игра с призраком; решающей ставкой был поединок 15 июля 1841 года, когда последняя карта была убита.

Во сне созерцает Лермонтов рай, которого, он знает, наяву ему никогда не видеть. Святым сном остается для него воспоминание детства, породившее в душе поэта такую пламенную, такую страстную любовь к Кавказу. За что он любил Кавказ? только за один мимолетный призрак счастья: глядя на горы, переживал он ласку покойной матери:

В младенческих летах я мать потерял;  
 Но мнилось, что в розовый вечера час  
 Та степь повторяла мне памятный глас.  
 За это люблю я вершины тех скал, —  
 Люблю я Кавказ.

И первая, чистая, любовь его связана с Кавказом — с вечною панорамой южных гор. Шестнадцатилетний отрок вспоминает:

Я счастлив был с вами, ущелия гор;  
*Пять лет* пронеслось: все тоскую по вас.  
 Там видел я пару божественных глаз, —  
 И сердце лепечет, вспомня тот взор:  
 Люблю я Кавказ!<sup>9</sup>

Пять лет! Да разве не сон эта «пара божественных глаз», когда-то на миг мелькнувших десятилетнему Мишелю? Разумеется, все это происходило во сне, на заре жизни, когда еще зелеными глазами смотрит ребенок на чудесный мир, не успев очнуться от грез предыдущей ночи. В дальнейших строфах «11 июня» немало есть детского, почти смешного, — мечты о клевете, об изгнании, о кровавой могиле, — но для семнадцатилетнего поэта все это в порядке вещей. Мечты эти только подтверждают его полную искренность.

Под ношей бытия не устает  
 И не хладеет гордая душа;  
 Судьба ее так скоро не убьет,  
 А лишь взбунтует; мщением дыша  
 Против непобедимой, много зла  
 Она свершить готова, хоть могла  
 Составить счастье тысячи людей;  
 С такой душой ты Бог или злодей!..

Тут вся мстительная, клянущая и бунтующая стихия Лермонтова, со всеми ее муками; тут и борьба с судьбой, и «склонность к разрушенью», и гордый отказ от райского блаженства для земной тоски.

Всегда кипит и зреет что-нибудь  
 В моем уме. Желанья и тоска  
 Тревожат беспрестанно эту грудь.  
 Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка,  
 И все боюсь, что не успею я  
 Свершить чего-то! Жажда бытия  
 Во мне сильнее страданий роковых,  
 Хотя я презираю жизнь других.

Это тот же парус одинокий, который счастья не ищет и просит бури.

Есть время — леденеет быстрый ум;  
 Есть сумерки души, когда предмет  
 Желаний мрачен; усыпление дум;  
 Меж радостью и горем полусвет;  
 Душа сама собою стеснена;  
 Жизнь ненавистна, но и смерть страшна...  
 Находишь корень мук в себе самом,  
 И небо обвинить нельзя ни в чем.

Я к состоянью этому привык,  
 Но ясно выразить его б не мог  
 Ни ангельский, ни демонский язык:  
 Они таких не ведают тревог,  
 В одном все чисто, а в другом все зло.  
 Лишь в человеке встретиться могло  
 Священное с порочным. Все его  
 Мученья происходят оттого.

В смешении священного с порочным опять во весь рост является нам Лермонтов, с бурями адской страсти и бесплодной тоской по утраченному эдему. Пусть он вечно страдает, томим воспоминанием об ангельской чистоте своих первых дней; пусть рвется стать преступником, демоном — он остается и навсегда останется только *человеком*.

Все его  
 Мученья происходят оттого.

Я предузнал мой жребий, мой конец,  
 И грусти ранняя на мне печать;  
 И как я мучусь, знает лишь Творец, —  
 Но равнодушный мир не должен знать.  
 И не забыт умру я.

Да, миру не нужны были его мученья; мир их и не узнал, но что мучился он безумно — в том порукой нам его жизнь и смерть.

Но всего важнее в этой юношеской исповеди (а ведь юношеские признания всегда искренней старческих несравненно) — это слова Лермонтова о любви.

О, когда б я мог  
 Забыть, что незабвенно... женский взор!  
 Причину стольких слез, безумств, тревог!  
 Другой владеет ею с давних пор,  
 И я другую с нежностью люблю,  
 Хочу любить — и небеса молю  
 О новых муках; но в груди моей  
 Все жив печальный призрак прежних дней.

Кто она? Это неважно и даже нелюбопытно для нас; важно то, что и тут звучит нам все тот же вечный лейтмотив лермонтовской поэзии:

Не верят в мире многие любви  
 И тем счастливы; для иных она —  
 Желанье, порожденное в крови,  
 Расстройство мозга иль виденье сна.  
 Я не могу любовь определить,  
 Но это страсть сильнейшая! Любить —  
 Необходимость мне, и я любил  
 Всем напряжением душевных сил.

И отучить меня не мог обман:  
 Пустое сердце ныло без страстей,  
 И в глубине моих сердечных ран  
 Жила любовь, богиня юных дней.  
 Так в трещине развалин иногда  
 Береза вырастает — молода,  
 И зелена, и взоры веселит,  
 И украшает сумрачный гранит.

Трогательное простодушие! Любить — ему необходимость. «Кто мне поверит, что я знал уже любовь десяти лет от роду? Нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется потому, что я никогда не любил, как в тот раз» (запись 8 июля 1830 г.). Конечно, это кажется, только кажется. Первая любовь: для нее женщина никогда не цель, а только средство: образ женщины избирает она как предлог для своего существования. Лопухина ли, Сушкова ли, та или иная дама — все равно. «Люблю мечты моей создание». Но «обман» (в смысле *разочарования*) не мог отучить его от увлечения женщиной. В последнем, предсмертном<sup>10</sup>, стихотворении он говорит:

Нет, не тебя так пылко я люблю,  
 Не для меня красы твоей блистанье, —  
 Люблю в тебе я прошлое страданье  
 И молодость погибшую мою.

Когда порой я на тебя смотрю,  
 В твои глаза вникая долгим взором,  
 Таинственным я занят разговором, —  
 Но не с тобой я сердцем говорю.

Я говорю с подругой юных дней,  
 В твоих чертах ищу черты другие,  
 В устах живых — уста давно немые,  
 В глазах — огонь угаснувших очей.

А в сущности — никого не люблю, кроме «мечты», кроме «сна», кроме того, что «кажется».

Трагедия Лермонтова не в самой любви, а в отношении его к ней. Разочарование его неподдельно; нет уж, какой тут байронизм! Слепой подражатель Байрону не вырвал бы никогда из груди своей таких леденящих сердце стонов. Душа Лермонтова действительно увяла: она дышит сыростью могильных цветов. Мысль о любви всегда сочетается у него с мечтами о смерти, о вечности — и сладостно-жутко читать эти полудетские стихи:

Вчера до самой ночи просидел  
 Я на кладбище. Все смотрел, смотрел  
 Вокруг себя, полстертые слова  
 Я разобрал. Невольно голова  
 Наполнилась мечтами вновь; очей  
 Я не был в силах оторвать с камней...  
 Один ушел уж в землю, и на нем  
 Все стерлося; там крест к кресту челом  
 Нагнулся, будто любит; будто сон  
 Земных страстей узнал в сем месте он.  
 Вкруг тихо, сладко все, как мысль о ней<sup>11</sup>.

*Мысль о ней* — где же? на кладбище. Это не сентиментальные вздыхания Жуковского о близости небесного свидания, это — зловещее предчувствие разлуки вечной. Любовь Лермонтова тысячами нитей сплетена со смертью, с гробом, с мертвецами и со всем их кладбищенским обиходом. И опять это не романтический мишурный антураж: Лермонтов искренно любит страшные тайны могил, чувствует подлинную поэзию склепа, как чувствовал ее Эдгар По. Ярko и мучительно переживает этот пензенский барчонок, начитавшийся Байрона, муки

любви, ощущая в то же время адское наслаждение при мысли о смерти. Эти две могущественнейшие стихии, любовь и смерть, озарены у него в соединении своем невыносимым светом. Мрачно, сладострастным шепотом повествует он в своем «Вадиме»: «Однажды мать сосватала невесту для сына, давно убитого на войне; долго ждала красавица своего суженого, наконец вышла замуж за другого: на первую же ночь свадьбы явился призрак первого жениха и лег с новобрачными в постель. “Она моя”, — говорил он, — и слова его были ветер, гуляющий в пустом черепе; он прижал невесту к груди своей, где на месте сердца у него была кровавая рана; призвали попа с крестом и святой водой и выгнали опоздавшего гостя, и, выходя, он заплакал, но вместо слез песок посыпался из открытых глаз его».

Какому романтику в то время могла прийти в голову жуткая гробовая ирония «Конца»?

Конец! Как звучно это слово,  
 Как много, — мало мыслей в нем!  
 Последний стон — и все готово,  
 Без дальних справок. А потом?  
 Потом вас чинно в гроб положат  
 И черви ваш скелет обгложат...  
 Когда ж чиновный человек  
 Захочет места на кладбище,  
 То ваше узкое жилище  
 Разроет заступ похорон  
 И грубо выкинет вас вон,  
 И может быть, из вашей кости,  
 Подлив воды, подсыпав круп,  
 Кухмейстер изготовит суп...  
 А там голодный аппетит  
 Хвалить вас будет с восхищеньем,  
 А там желудок вас сварит,  
 А там... \*<sup>12</sup>

\* Конец этого стихотворения имеет еще вариант:

Когда ж стеснится уж кладбище,  
 То ваше узкое жилище  
 Разроют смелою рукой  
 И гроб поставят к вам другой.  
 И молча ляжет с вами рядом  
 Девушка нежная, одна,  
 Мила, покорна, хоть бледна...  
 Но ни дыханием, ни взглядом  
 Не возмутится ваш покой...  
 Что за блаженство, боже мой!

А изумительная «Любовь мертвеца», одно из лучших произведений Лермонтова?

Что мне сиянье Божьей власти  
И рай святой?  
Я перенес земные страсти  
Туда с собой:  
Ласкаю я мечту родную  
Везде одну;  
Желаю, плачу и ревную,  
Как в старину.

Апофеоз любви, пережившей смерть! Воистину, *любовь сильнее смерти*, именно *сильнее*. Все обаяние поэзии Лермонтова в его силе. Он — силач, сказочный богатырь. Недаром современник его, художник П. А. Федотов, называл его стихи «песнями богатыря в минуты скорби неслыханной»<sup>13</sup>.

Я не могу любовь определить,  
Но это страсть сильнейшая.

Горе тому, у кого любовь на всю жизнь остается сильнейшей страстью. Она неизбежно приведет его к крушению. Для Лермонтова главный ужас заключался в раздвоенности его любви, в той пропасти, что зияет вечно между женщиной и идеалом. Он, как Дант, создан был для любви истинной, для любви бессмертной, но в этой жизни не пришлось встретить ему свою Беатриче. Судьба при рождении одарила его нездешним чувством любви, как бы забыв, что ему предназначено жить на земле. Он искал, тоскуя, неземную мечту, а кругом были Лопухины, Сушковы, Смирновы<sup>14</sup>, Щербатовы<sup>15</sup>. Что же оставалось поэту, как не любить «мечты своей созданье»?<sup>16</sup> Но и существовать одною мечтою он не мог: он был *человеком*, сыном праха и жителем земли. В груди его вулканом вскипала страсть; он не в силах был оставаться равнодушным перед чарами прекрасных женщин. И, презирая их безмерно, шел к ним со святней в глубине души, зная, что ничего не найдет в ответ.

Есть рай небесный! Звезды говорят;  
Но где же? вот вопрос, и в нем-то яд.  
Он сделал то, что в женском сердце я  
Хотел сыскать отраду бытия<sup>17</sup>.

Подлинная любовь Лермонтова, конечно, не земная. Иначе он вряд ли бы невредимо пронес ее сквозь жизненные дебри. Та грязь, что его окружала с детства, давно захлестнула бы белый

мрамор земного идола, но голубую воздушность женственного видения она оттеняла еще чище. Сны, к счастью для людей, неподвластны ужасам житейским.

В ребячестве моем тоску любви знойной  
 Уж стал я понимать душою беспокойной;  
 На мягком ложе сна не раз во тьме ночной,  
 При свете трепетном лампы образной,  
 Воображением, предчувствием томимый,  
 Я предавал свой ум мечте непобедимой:  
*Я видел женский лик* — он хладен был, как лед —  
 И очи... этот взор в груди моей живет;  
 Как совесть, душу он хранит от преступлений;  
 Он след единственный младенческих видений...  
 И деву чудную любил я, как любить  
 Не мог еще с тех пор, не стану, может быть<sup>18</sup>.

Женский взор святого призрака сопровождает поэта во всю жизнь, как «след единственный младенческих видений». Может ли он, влюбленный в мечту, любивший «чудную деву» так, как «любить в другой раз он не может и не станет», — мог ли он любить дев земных?

До сих пор никто еще, кажется, не обращал серьезного внимания на огромное автобиографическое значение лермонтовского «Сашки». Поэму эту считают нескромным подражанием Полежаеву, легкою шалостью молодого пера, а между тем это полная содержания и серьезная значением пьеса. Из нее целиком вышла «Сказка для детей»; последнюю сближает с «Сашкой» не только общий тон рассказа, но и буквальное совпадение некоторых стихов. В «Сашке» встречаются места удивительной выдержанности и силы, и можно бы пожалеть, что Лермонтов бросил поэму неоконченной, если бы из ее хаоса не возникла через несколько лет стройная колоннада «Сказки». Висковатовы и Введенские<sup>19</sup> в своем педантическом глубокомыслии пренебрежительно обошли поэму, хотя, конечно, героя ее нельзя считать безусловным двойником Лермонтова. Но все-таки историко-биографическая правдивость «Сашки» бесспорна. «Сашка» — ценнейший документ для характеристики Лермонтова-ребенка и Лермонтова-юноши в первые семнадцать лет его жизни, до самого поступления в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Читая «Сашку», начинаешь яснее понимать трагическую сторону в

жизни Лермонтова: нежная, как крылья мотылька, чистая, как вершины кавказских гор, душа гениального ребенка уже в раннем детстве заляпана была комками житейской грязи.

И Саша был четырнадцать лет.  
 Он привыкал (скажу вам под секретом,  
 Хоть важности большой во всем том нет)  
 Толкаться меж служанок. Часто летом,  
 Когда луна бросала томный свет  
 На тихий сад, на свод густых акаций,  
 И с шепотом толпа домашних граций  
 В аллее кралась, — легкою стопой  
 Он догонял их, и, шутя, порой  
 Его невинность (вы поймете сами)  
 Они дразнили дерзкими перстами.

Раннее прикосновение порока, «смутив ребенка сон покойный», дыханием набегающей бури налетело на зеркальную гладь души и заставило навсегда задрожать ее сладострастной зыбью. На людей, подобных Лермонтову, первое познание добра и зла кладет неумолимый отпечаток, своего рода каторжное клеймо, доводящее иных до самоубийства.

По тем временам (сто лет назад) сближение подрастающего барчонка с миром девичьей было явлением неизбежным и притом обычным. Конечно, сама строгая бабушка Арсеньева<sup>20</sup> несколько не огорчилась бы, узнав о связи Мишеля с дворовой девушкой. Девичья в помещичьей усадьбе была особым миром; сюда отбирались красивейшие и умнейшие девушки, часто незаконные дочери господ; здесь зарождались крепостные актрисы и танцовщицы, но под старость из девичьей же выходили Арины Родионовны и Натальи Савишны<sup>21</sup>. Из какого-то ложного стыда (перед чем?) мы все еще затеяем положительные стороны старой помещичьей жизни, донныне не исследованные. Девичья играла большую роль в юности наших предков. Из записок гр. Л. Толстого мы знаем, что отца его в шестнадцать лет родители соединили «для здоровья» с одной из дворовых девушек\*. Сам Толстой в «Отрочестве» рассказывает о любви к горничной Маше<sup>22</sup>. В девичьей возникало первое очарование женской любви, вспыхивали первые порывы сладострастия, но далеко не для всех влияние это оказывалось вредным и роковым. В воспоминаниях Фета мы находим идиллическое описание прекрасной горничной Аннушки, пробудившей первую

\* Лев Николаевич Толстой: Биография / Составил П. Бирюков, по неизданным материалам. М., 1906. Т. I. С. 50.

возвышенную страсть в груди будущего певца «Соловья и розы» \*<sup>23</sup>. У Лермонтова описание ночных свиданий с Марфушей сделано, несомненно, с натуры.

Во тьме ночной,  
 На цыпочках по лестнице ступая,  
 В чепце, платок накинув шерстяной,  
 Являлась к Саше дева молодая.  
 Задув лампаду, трепетной рукой  
 Держась за спинку шаткую кровати,  
 Она искала жарких там объятий.  
 Потом, на мягкий пух привлечена,  
 Под одеяло пряталась она;  
 Тяжелый вздох из груди вырывался,  
 И в жарких поцелуях он сливался.

Правда и то, что, как признается поэт,

Я пробежал пороков длинный ряд  
 И пресыщен был горьким наслаждением.

Старческий опыт, проклятый опыт Адама, рано воцарился в опустошенной душе полуревбенка.

А главное — Сашка «имел большую склонность к разрушенью». Прототип его, Александр Арбенин в неоконченном прозаическом отрывке, характеризуется теми же самыми чертами.

«Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую... Саше было с ними очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными, и понятиями противуобщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать... Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были такие жесткие... Саша был избалованный, пресвоевольный ребенок... Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необык-

---

\* «Подобно всему дому я испытывал невольное влечение к горничной или, как тогда говорили, фрейлине мамá Аннушке. Это была прелестная, стройная блондинка с светло-серыми глазами, и хотя она и прошла через затрапезное платье, но мать наша всегда находила возможность подарить ей свое ситцевое или холстинковое и какую-нибудь ленту на пояс. Из этого Аннушка при своем мастерстве и врожденной грации умела в праздник быть изящно наряженной» (Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 18).

новенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу»<sup>24</sup>.

Это один и тот же образ. Сашка, Александр Арбенин, Печорин — все они перегорели на медленном огне, превратившем их души в холодный пепел\*.

Впечатления отроческих лет дают направление целой жизни. Черты, роднящие любимых лермонтовских героев в их главном, позволяют с уверенностью утверждать их непосред-

---

\* Некрасов, принадлежавший к поколению, несколькими годами младшему, в своей «Прекрасной партии»<sup>25</sup> отнесся к Печорину уже с иронией, изобразив тип его в следующих чертах:

То был гвардейский офицер,  
 Воитель черноокий;  
 Блистал он светскостью манер  
 И лоб имел высокий.

Был очень тонкого ума,  
 Воспитан превосходно,  
 Читал Фудраса и Дюма,  
 И мыслил благородно.

.....

Являл он Байрона черты  
 В характере усталом:  
 Не верил в книги и мечты,  
 Не увлекался балом.

Он знал: фортуны колесо  
 Пленяет только младость.  
 Он в ресторации Дюссо  
 Давно утратил радость.

Он буйно молодость убил,  
 Взяв образец в Ловласе,  
 И рано сердце остудил  
 У Кессених в танцклассе.

(Кессених содержала в сороковых годах веселый дом на одной из петербургских застав.) Самый образ Печорина оказался под силу одному Лермонтову и умер с ним. Попытки наших беллетристов пятидесятых годов оживить Печорина, придать ему жизненное правдоподобие и трагичность, не привели ни к чему. Лермонтовская трагедия под пером их становилась мелодрамой. М. В. Авдеев в повести своей «Тамарин» при самых серьезных намерениях сделал из героя лишь смешную карикатуру на Печорина. Это отмечено еще Аполлоном Григорьевым в одной из его статей<sup>26</sup>.

ственную близость к самому поэту. Все это один герой, имя которому Михаил Лермонтов. Отсюда понятно это небывалое у других поэтов обилие одних и тех же описаний, вводимых в разные произведения, упорные повторения стихов, одинаковые имена героев. Все это обнаруживает глубокую одноцентренность вечно сверлящей души, которой одна неотступная мысль владеет: выразить самое себя. Душе этой пришлось пройти сквозь строй, вынести ужасную пытку земной любви. Лермонтов барахтается в жизни, как лебедь в грязной луже. Начиная с бабушкиных горничных, пресненских Тирз и Параш и кончая юнкерскими Уланшами, Ларисами и танцовками, все соединилось, чтобы осквернить любящую нежную душу, чтобы, омрачив, высосать и опустошить ее.

Как ранний плод, лишенный сока,  
Она увяла в бурях рока,  
Под знойным солнцем бытия.

Как тут не вспомнить Достоевского? «Дьявол с Богом борются, а поле битвы — сердца людей. (В Лермонтове есть черты Димитрия.) Широкий человек, слишком широкий — я бы сузил»<sup>27</sup>. Воочию перед нами эта чудесная широкость, — совмещение идеала содомского с идеалом Мадонны.

Однажды, после долгих прений  
И осушив бутылки три,  
Князь Б., любитель наслаждений,  
С Лафю стал держать пари.  
Клянуся, молвил князь удалый,  
Что нашу польку в эту ночь...<sup>28</sup>

И вдруг тут же, почти тотчас:

Я, Мать Божия, ныне с молитвою...

Отчаянный юнкер в серой шинели, едва проспавшийся после угарной ночи, с душой, мутной от пьяного похмелья, — вот стоит он плечом к плечу с нежно-воздушной барышней где-нибудь на Зимней Канавке, прислушивается к вечерним выстрелам, — и уже по искаженной душе его, как по небу полуночи, пролетает белокрылый ангел:

Ты помнишь ли, как мы с тобою  
Прощались позднею порою?  
Вечерний выстрел загремел,  
И мы с волнением внимали...

Тогда лучи уж догорали,  
И на море туман густел;  
Удар с усилием промчался  
И вдруг за бездною скончался<sup>29</sup>.

Но, потеряв навек серафическую непорочность чувств, Лермонтов не хочет покориться Року.

В противность своему Демону, он знает, что никакая Тамара не возвратит ему рая. Дьявольская гримаса иронии навсегда омрачила угрюмое лицо. На всех портретах Лермонтова застыло выражение тоскливо-мрачной иронии. Любовь, со всею ее необъятною нежностью и красотой, со страданием и счастьем влюбленных, для корнета Лермонтова вырождается в ленивую интригу. Самодовольно-скучающий светский лев, он относится к женщинам со снисходительным пренебреженьем. Уже шестнадцать лет, оторвавшись на миг от созерцания неземной красоты, воздушного виденья, он холодно замечает:

Поверь, невинных женщин вовсе нет;  
Лишь по желанью, случай и предмет  
Не вечно тут. Любить не ставит в грех  
Та одного, та многих, эта всех<sup>30</sup>.

Теперь на земле остается у него одно сладострастие, любовь же умерла навсегда, как только он понял, что женщина и мечта о ней — не одно и то же.

Если вера в любовь погибла, что же тогда остается в жизни? И что такое самая жизнь?

Что жизнь? — Давно известная шарада  
Для упражнения детей,  
Где первое — рождение, где второе —  
Ужасный ряд забот и муки тайных ран,  
Где смерть — последнее, а целое — обман!<sup>31</sup>

Обман. В этом сплошном обмане стоит ли играть смешную роль?

Любить? Но кого же? На время — не стоит труда,  
А вечно любить — невозможно.

Раз уже начались рассуждения о том, стоит ли труда полюбить хотя на время, то ясно, что душе такого человека недоступна уже и просто не нужна сама любовь.

А тут еще одиночество, этот неизбежный удел гордых и несчастных душ, призрак которого не покидал Лермонтова с юных лет:

Как страшно жизни сей оковы  
 Нам в одиночестве влачить;  
 Делить веселье все готовы, —  
 Никто не хочет грусть делить.

Один я здесь, как царь воздушный,  
 Странанья в сердце стеснены,  
 И вижу, как судьбы послушны,  
 Года уходят, будто сны.

И вновь приходят — с позлащенной,  
 Но той же, старую мечтой;  
 И вижу гроб уединенный, —  
 Он манит и сулит покой.

Никто о том не покрушится,  
 И будут (я уверен в том)  
 О смерти больше веселиться,  
 Чем о рождении моем<sup>32</sup>.

И всюду гроб, смерть, уничтожение, исполинскою тенью  
 грозящее впереди, и неизбежное предчувствие все тревожней  
 сжимает сердце:

Я предузнал мой жребий, мой конец  
 И смерти ранняя на мне печать.

.....

Грядущее тревожит грудь мою:  
 Как жизнь я кончу, где душа моя  
 Блуждать осуждена, в каком краю  
 Любезные предметы встречу я?  
 Но кто меня любил, тот голос мой  
 Услышит и узнает... И с тоской  
 Я вижу, что любить, как я, — порок,  
 И вижу... я слабей любить не мог<sup>33</sup>.

Еще в 1830 году пишет Лермонтов кошмарные свои «Ночи»<sup>34</sup>:

И я сошел в темницу, узкий гроб,  
 Где гнил мой труп, — и там остался я.  
 Здесь кость уже была видна, здесь мясо  
 Кусками синее висело; жилы там  
 Я примечал с засохшею в них кровью...  
 С отчаяньем сидел я и взирал,  
 Как быстро насекомые роились  
 И поедали жадно свою пищу:  
 Червяк то выползал из впадин глаз,  
 То вновь скрывался в безобразный череп,

И каждое его движенье  
 Меня терзало судорожной болью.

Всех героев своих Лермонтов щедро наделил своими же собственными страстями. Любопытно проследить, как, начав с безобразного уroda Вадима, он кончает прекрасным Демоном. Представление его о «герое» пережило несколько постепенных стадий, но всегда он в лице их прикрашивает или безобразит самого себя. Кажется, будто он рассматривает себя в несколько зеркал, примеривая различные позы и платья. Все герои его непременно любовники, почти всегда несчастные или не желающие быть счастливыми; у всех борьба с женщиной на первом плане — поединки в любви или в кокетстве; все заняты только своими переживаниями, своей любовью. Немногого не хватает им, чтобы стать смешными, но ведь и сам Лермонтов... почти смешон.

Вера в «Герое нашего времени» говорит Печорину: «Никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном».

Лермонтова до конца не удовлетворили его герои; самым неудачным из них был Арбенин из «Маскарада», эта ходячая месть, благородный шулер с самолюбием. Когда-то увлекался Лермонтов роковой фигурой Наполеона, может быть потому, что находил в нем сходство с собою; тени его вложил он в уста фразу: «Я выше и похвал, и славы, и людей»<sup>35</sup>. Попытка Лермонтова создать единственного героя олицетворилась всего удачнее в «Демоне», который, в сущности, опять все тот же, отвлеченно взятый Лермонтов. Демон мучил Лермонтова несколько лет, пока он от него не «отделался стихами»<sup>36</sup>. Но разве это не тот же прежний и постоянный его герой — «дух изгнанья», «отверженный», кто «похож на вечер ясный: ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет», «царь познания и свободы», «враг небес, зло природы», тот, «кого никто не любит и все живущее клянет»?

Накануне смерти Лермонтов мог видеть, как вычерченные им полубессознательно десять лет назад контуры жизни расцвели яркими красками. Но — увы — картина эта была совсем не та, какую воображал ее поэт!

---

Еще в ребячестве сознал Лермонтов горькую истину, что «ничтожество есть благо в здешнем свете»<sup>37</sup>. За свою короткую

жизнь сроднился он с мыслью о ничтожестве, небытии (néant), загодя как бы привыкнул к смерти. Тогда же сказал он:

Средь бурь пустых томится юность наша,  
И быстро злобы яд ее мрачит,  
И нам горька остылой жизни чаша,  
И уж ничто души не веселит<sup>38</sup>.

Чашу эту приходилось ему испивать до дна во цвете жизни, с небольшим в двадцать пять лет, когда могучий талант его, как Демон, развертывал траурные крылья, приготовляясь к полету. А между тем сам поэт чувствовал, что некуда и незачем ему лететь. Все в мире стало для него мертво и пустынно, отравлено адской скукой. Быть может, проживи Лермонтов еще шесть, десять лет, он переломил бы себя, как Лев Толстой, с юностью которого его юность имеет большое сходство. В признаниях Печорина звучат толстовские ноты; самая идея «исповеди» роднит Лермонтова с Толстым. «В первой моей молодости, — говорит Печорин, — с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтобы добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно»... Скука — вот Демон, терзавший Лермонтова. От этого чудовища нельзя было отделаться стихами.

В себя ли заглянешь, — там прошлого нет и следа:  
И радость, и муки, и все там ничтожно...

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг  
Исчезнет при слове рассудка;

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —  
Такая пустая и глупая шутка...

Прекратить эту шутку могла одна смерть.

Немецкий писатель Фридрих Боденштедт, поклонник и переводчик Лермонтова, встретил впервые нашего поэта незадолго до его смерти в одном из петербургских ресторанов, в обществе двух молодых людей. Он оставил любопытное описание

внешности, манер и разговоров Лермонтова<sup>39</sup>. Как ни старается Боденштедт смягчить резкость впечатлений, в рассказе его обрисовывается во весь рост пошловатый и заносчивый офицер, дерзкий и невоздержный на язык, употребляющий постоянно в разговоре неприличные слова. Язвительные шутки Лермонтова в ушах сентиментального и благовоспитанного немца все время звучали так, как будто кто-нибудь «скреб по стеклу». Тут же, при Боденштедте, Лермонтов едва не нарывается на ссору с одним из приятелей, перейдя должную границу в острогах. Злить людей, очевидно, сделалось для него потребностью. Позже, в Пятигорске, он любил забавляться тем, что незаметно надламывал приготовленные в гостинице за общим столом тарелки. Слуги приходили в отчаяние, во время мытья посуды вынимая из воды груды черепков, а Лермонтов, насладившись их недоумением и испугом, тут же щедро расплачивался с хозяином<sup>40</sup>. Что это, как не дошедшая до последней степени скука? Приступы той же мертвящей скуки побуждали Лермонтова травить приятелей: он придирается, злит, выводит из себя, — прямо кусается, как бешеная собака. («Собаке собачья смерть», — сказала, узнав о кончине Лермонтова, одна высокопоставленная особа<sup>41</sup> и, конечно, по-своему была права.) В эти последние, зрелые, годы жизни действительность, манившая когда-то поэта грезами, показала ему свою изнанку, а горький опыт безжалостно разрушал возможность земного счастья.

Представим себе положение Лермонтова на Кавказских водах в роковое для него лето 1841 года. Не сознавать всего значения своего таланта он в то время уже не мог, но этот же талант делал в обществе положение его ложным, ибо в глазах дам, да еще светских, да еще семьдесят лет назад, быть русским писателем оказывалось совсем не *comme il faut*\*. «В то время мы все писали такие стихи»<sup>42</sup>, — заметил один из современников Лермонтова. Вряд ли кому известно, что Мартынов, убийца поэта, тоже писал стихи, и даже недурные, т. е. посредственные, чего для успеха в салоне более чем достаточно. Вообще, Мартынов, как увидим ниже, в обществе имел все преимущества на своей стороне и был опасным соперником поэту. Биографы Лермонтова, из сочувствия к нему, изображают Мартынова смешным пошляком: на деле было далеко не так. Смешон Мартынов не был, и со смешным человеком у Лермонтова до дуэли не дошло бы. Но серьезно ухаживать за пятигор-

\* благопристойно (фр.). — *Сост.*

скими барышнями Лермонтов в то время уже не мог: слишком хорошо постиг он «науку страсти нежной»<sup>43</sup>, да и водяное общество ему, что называется, «поднадоело». И вот ему приходится быть равнодушным зрителем, как тут же, на глазах его, все влюбляются, ухаживают, пишут стихи, терзаются ревностью. Как не презирать этих слепых людишек ему, познавшему до конца гнетущий ужас жизни, наперснику Демона, для кого вся жизнь была только «тетрадь с давно известными стихами»? По привычке он все-таки слегка ухаживает за младшей дочерью бригадного генерала, Н. П. Верзилиной<sup>44</sup>. Надежда Петровна была самая обыкновенная барышня, провинциальная кокетка, окруженная обществом военной молодежи, оживлявшей каждое лето пятигорский сезон, — и, конечно, дуэль Лермонтова только сделала ее более «интересной». В прошлом у нее осталось приятное воспоминание, что вот из-за нее убит на дуэли Лермонтов, тот самый... Впоследствии она была примерной женою и матерью семейства. И казалось бы, не все ли равно Лермонтову, что красавец Мартынов нравится Надежде Петровне, что она оказывает ему предпочтение? Ложное самолюбие светского льва не позволяло ему оставаться равнодушным. Ему не вспоминался собственный его давнишний мадригал «Глупой красавице», написанный лет десять тому назад:

Амур спросил меня однажды,  
Хочу ль испить его вина...  
Я не имел в то время жажды,  
Но выпил кубок весь до дна.

Теперь желал бы я напрасно  
Смочить горящие уста,  
Затем, что чаша влаги страстной,  
Как голова твоя, пуста.

Пуста и хорошенькая головка Надежды Петровны, и так мало значит она для Лермонтова, что он даже ничего не может написать ей в альбом, кроме каких-то бессвязно-забавных пустяков:

Надежда Петровна,  
Зачем так неровно  
Разобран ваш ряд?  
И локон небрежный  
Под шейкою нежной,  
На поясе нож...  
C'est un vers qui cloche \*<sup>45</sup>.

\* Вот стих, который хромает (фр.). — *Сост.*

А ночью — там, у себя, в маленьком домике под Машуком, — пишет, быть может, со слезами: «Выхожу один я на дорогу...», — и восклицает, вспоминая пусто и бесцельно проведенный день:

Нет, не с тобой я сердцем говорю!

И так чудовищно это несоответствие между жизнью и мечтой, что, выбросив жемчужные стихи, мятежная душа не утихает — и еще пуще хочется на другой день злить самодовольного Мартынова.

Мартынов \* по рождению и воспитанию принадлежал к тому же обществу, что и Лермонтов, но значительно превосходил последнего успехом служебной своей карьеры. Будучи годом моложе Лермонтова, он вышел в отставку с чином майора, тогда как Лермонтов был только поручик. О храбрости Мартынова свидетельствовало боевое отличие, сверх всего, он, как описывает его один из современников, «был очень красивый молодой гвардейский офицер, высокого роста, блондин с выгнутым немного носом. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел романсы и все мечтал о чинах, орденах и думал не иначе как дослужиться на Кавказе до генеральского чина» \*\*.

\* Николай Соломонович Мартынов родился в Нижнем Новгороде 9 октября 1815 г. Воспитывался в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с 17 октября 1832 года по 6 декабря 1835 г., когда выпущен был корнетом в кавалергарды. С 1836 г. — поручик. 6 марта 1837 г. командирован на Кавказ, участвовал в экспедиции ген. Вельяминова против нутухайцев и шапсугов, для заложения укреплений Новотроицкого и Михайловского, и награжден орденом св. Анны 3-й степени с бантом. 27 сентября 1839 г. зачислен по кавалерии ротмистром, с прикомандированием к Гребенскому казачьему полку, а 23 февраля 1841 г. уволен в отставку, по домашним обстоятельствам, майором. Умер в 1875 г. (Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908 гг. СПб., 1908. Т. IV. С. 98—106).

\*\* Воспоминания Я. И. Костенецкого (Русская старина. 1875. № 9. С. 64). К этому надо еще добавить, что Мартынов писал также и стихи, вроде следующих:

#### Песнь чеченца

За Аргуном-рекой,  
Над кремнистой скалой,  
Как гнездо, выдается аул.  
Он сто лет на горе,  
И в столетней коре

Все данные для полного успеха в жизни! Где уж было соперничать с таким блестящим представителем золотой середины большеголовому кривоногому Маёшке, с его вечно ядовитыми остротами и пронзительным неприятным смехом? По выходе в отставку Мартынов, — рассказывает тот же современник, — из веселого, светского, изящного молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды; в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, нахлобученной белой папахой, вечно мрачный и молчаливый, он играл Печорина \*. Разумеется, и это все шло к нему. Как будто сам Печорин, в лице Мартынова, явился воочию на кавказские воды. И княжна Мери, существуй она в действительности, конечно, отдала бы сердце Мартынову, а никак не своему поэту, не говоря уже о простодушной дикарке Бэле. Можно вообразить, как раздражало Лермонтова печоринство Мартынова! Его герой воплотился наяву своими худшими сторонами. Мартынову пребывание Лермонтова на водах было неприятно по многим причинам. В душе он сознавал свое ничтожество; его стихи и романсы восхищать могли девиц, но вряд ли он отваживался на них в присутствии Лермонтова, видевшего его насквозь; на убийственные остроты последнего он не находил ответов. Но, как всякий «порядочный молодой человек», Мартынов больше всего на свете боялся «влететь в историю», а потому спускал многое несносному Маёшке \*\*. Одного не мог вынести Марты-

Лес дремучий его обогнул...

.....  
И желаний тоска

Грудь вздымает слегка,

Будто волны несут лебедей;

И на свежих устах,

Как роса на цветах,

Сладострастия влага у ней, *и. т. д.*

(Нарцов А. Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904). Вероятно, многим стихи эти казались ничем не хуже лермонтовских.

\* Воспоминания Я. И. Костенецкого (Там же. С. 64).

\*\* «Как поэт Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек он был мелочен и несносен. Эти недостатки и признак безрассудного упорства в них были причиной смерти гениального поэта от выстрела, сделанного рукою человека доброго, сердечного, которого Лермонтов довел своими насмешками и даже клеветами почти до сумасшествия. Мартынов, которого я хорошо знал, до конца своей жизни мучился и страдал оттого, что был виновником смерти Лермонтова» (Арсеньев И. А. <Слово живое за неживых: (Из моих воспоминаний)>. — Исторический вестник. 1887. Т. II. С. 354).

нов: шуток Лермонтова «при дамах», — очень уж страдало от них петушье самолюбие неотразимого кавалера. Он даже унижался до просьбы: перестать острить, но, разумеется, только усиливал тем ядовитые нападки. И вот, может быть, в тот самый момент, когда Мартынов решительным печоринским приемом покорял нежное сердце Наденьки Верзилиной, по комнате громко прозвучало ненавистное: *montagnard au grand poignard* \*. Чаша терпения переполнилась — и насмешник заплатился жизнью \*\*<sup>46</sup>.

Вся поэзия Лермонтова — один демонический аккорд. Если он, как упрекнул его однажды В. Брюсов<sup>48</sup>, и не верил в существование демонов, то сам зато был подлинный, настоящий демон. Нечеловеческое что-то слышится в нем; стихи его, а в особенности проза, дышат тою же силой, что заключалась в чертах портрета, поразившего Лугина. «Рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погибло безвозвратно. В лице портрета дышало именно то *неизъяснимое*, возможное только гению или случаю». У Лермонтова слог зловеший. Стихи его падают на читателя, как желтые осенние листья \*\*\*. Главное значение его поэзии в лирике и «Ге-

\* горец с большим кинжалом (фр.). — *Сост.*

\*\* К причинам, способствовавшим роковой дуэли, прибавляют историю с дневником сестры Мартынова. Имеются веские данные предполагать, что Лермонтов потихоньку прочел, а потом уничтожил этот дневник, посланный с ним на Кавказ для передачи Мартынову<sup>47</sup>. В «Княгине Лиговской» прототип Лермонтова, Печорин, посылает анонимное письмо Негуровой alias Сушковой. Тот, кто способен был отправить анонимное письмо одной девушке, мог распечатать дневник другой.

\*\*\* Любопытно сопоставить начало третьей строфы «11 июня» с одним из ранних стихотворений Фета, «Напрасно».

*Лермонтов:* Холодной буквой трудно объяснить  
Боренье дум. Нет звуков у людей  
Довольно сильных, чтоб изобразить  
Желание блаженства. Пыл страстей  
Возвышенных я чувствую, но слов  
Не нахожу.

*Фет:* Не нами  
Бессилье изведено слов к выраженью желаний.  
Безмолвные муки сказались людям веками;  
Не очередь наша, и кончится ряд испытаний  
Не нами.

рое нашего времени»; кавказские декоративные его поэмы, за исключением «Демона», скучны и ходульны. Полное собрание его сочинений являет собой огромную грудку сменявшихся беспрестанно черновиков; перебелить их окончательно не дала смерть.



---

Здесь, кстати, отметим, что интерес и любовь к Лермонтову не оставляли Фета во всю жизнь. В своих рассказах («Кактус» и др.) он часто цитирует лермонтовские стихи; то же самое находим в его «Воспоминаниях». Года за два до смерти (в декабре 1890 г.) он интересовался точным текстом «Демона»<sup>49</sup>.